



Putešestvie moego brata Alekseja v stranu krest'noj utopii

Vollständiger

Titel: Putešestvie moego brata Alekseja v stranu krest'noj

PPN: PPN1004505442

PURL: <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000211600010000>

Erscheinungsjahr: 1920

Signatur: 3 A 170011-1

Kategorie(n): Slavica

Projekt: DoD FID Slawistik

Strukturtyp: Band

Seiten (gesamt): 85

Seiten (ausgewählt): 1-85

Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Из Кремнев

**ПУТЕШЕСТВИЕ
МОЕГО БРАТА
АЛЕКСЕЯ В СТРА-
НУ КРЕСТЬЯН-
СКОЙ УТОПИИ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.


Москва 1920.

ИВ. КРЕМНЕВ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ
В СТРАНУ
КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ.

ЧАСТЬ I.

С предисловием *Н. Орловского.*



Государственное Издательство.
МОСКВА — 1920.

3 A 170011



-1

2-я государственная типография. Большая Дмитровка, 26.

Предисловие,

из которого благосклонный читатель узнает, каковы идеалы наших кооператоров и почему эти идеалы утопичны и реакционны.

Уже по одному заглавию книги мы видим, что автор хочет перенести нас в страну утопическую, т.-е. несуществующую, в страну фантазии. Такого рода романов-утопий в литературе накопилось много; они не ставят своей задачей изображение того будущего общественного строя, который должен сложиться в результате объективного исторического развития, а скорее стараются нарисовать идеальные отношения, при которых разрешатся все „проклятые вопросы“, все противоречия и несправедливости капиталистического общества. И данную утопию мы должны рассматривать, как подобную попытку решения социального вопроса. А так как автор является носителем определенной классовой идеологии, имеет свои общественные симпатии, свои общественные желания, то, конечно, и вся его утопия окрашена цветом этих желаний. Это не значит, что автор строит свою утопию вне времени и пространства; нет, он исходит из современной России, учитывает ее классовое деление исторически продол-

жает начатое революцией 1917 года развитие. Но, будучи идеологом среднего, так называемого трудового крестьянства, он возлагает все свои надежды на этот класс, заставляет его играть решающую роль в дальнейшем ходе революции и направлять развитие русского общества по линии своих классовых потребностей и желаний. Исторический момент, изображаемый в „Путешествии Алексея Кремнева“, есть момент упроченной власти крестьянства, реорганизовавшего все применительно к своим потребностям, осуществившего свой социальный идеал, достигшего своего „социализма“.

Каков же тот строй, на котором успокоилась крестьянская демократия? В социально-экономической области мы видим полное господство мелких индивидуальных производителей-крестьян, сидящих на крохотных наделах в 3—4 десятины на двор, но, благодаря высокой интенсивности труда, поднявших производительность почвы до урожая более 500 пуд. с десятины. Это та самая „грядковая культура“, при помощи которой в свое время Демчинские старались сохранить крестьянина крестьянином, закрепить его на земле, противодействовать революционизирующему влиянию обезземеления и пролетаризации крестьянства. При помощи этой интенсивной культуры китайский крестьянин в течение столетий оставался рабом земли и труда вместо того, чтобы овладеть и землею и трудом, подчинив их человеку и сделав орудием его развития. В самом деле, присмотритесь к тому, что значат эти 500 пудов с десятины? Чем достигается такой урожай? Прежде всего, конечно, сильным повышением напряженности (интенсивности) труда; в этом деле у нас с Кремневым не будет спора, — всякое общество,

желающее поднять материальный и духовный уровень масс, должно начать с увеличения интенсивности труда. Но достаточно ли одного увеличения напряженности труда, чтобы достигнуть, при мелком хозяйстве, т. е. по существу, ручным трудом, такой производительности почвы? И не только довести урожайность до 500 пудов с десятины, но и повышать его все больше, ибо рост населения не прекращается, а количество земли остается то же? Ясно, что нет. Необходимо также удлинять рабочее время, чтобы достигнуть требуемого количества труда. Неинтенсивный труд не может быть продолжительным. При самых лучших условиях питания, жизни и самого труда, количество энергии, которое человек может развить в работе, ограничено физиологически. Чтобы идти дальше этого предела, надо либо заменять труд человека машиной, либо, удлиняя рабочее время сверх меры, разрушать организм человека. Только на такой самозэксплуатации мелкого хозяйчика и может держаться сельскохозяйственная система в стране кремневской утопии. Это полное порабощение человека землей, то самое порабощение, которое мы видим у мелкого крестьянина-собственника на Западе.

— За коим чортом вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющая погодой, бессильна механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?—спрашивает Алексей Кремнев.

— Вот он, американец-то где сказался! — воскликнул Минин. — Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше

600 пудов с десятины, получаютс я чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом.

Не будем здесь останавливаться на вопросе, насколько верен „закон убывающего плодородия почвы“, и существует ли вообще такой закон, заметим только, что, поскольку это явление зависит от естественных условий, оно одинаково касается и крупного и мелкого хозяйства, поскольку же оно есть результат безхозяйной, хищнической эксплуатации почвы, оно одинаково может быть устранено и в мелком и в крупном—упорядоченном, производящем не на рынок, не под давлением рыночных цен хозяйстве. Так что ссылка на сей „закон“—от лукавого. Но эта ссылка нужна Минину и иже с ним. Идеологи мелкого собственнического крестьянства хотят во что бы то ни стало сохранить индивидуальное крестьянское хозяйство. Они прекрасно понимают, что в том виде, как оно сейчас существует, на нем никакого „будущего общества“ не построишь. Ибо для построения такого общества с высокой духовной культурой нужна большая масса прибавочного труда, который пошел бы на общественные предприятия и учреждения. Нынешний крестьянский труд дает излишки только при чрезмерной эксплуатации либо при недоедании; ни то, ни другое в стране „утопии“ неприменимо. Где же выход? Выход имеется под руками: ввести машинный труд, коллективное хозяйство, достигнуть громадного увеличения продукта не путем истощения и закабаления человека, а путем технических усовершенствований. Тогда человеческий труд, став интенсивнее в силу технической необходимости, количественно сократится, человек освободится от кабалы труда и сможет, наконец, пользоваться плодами культуры (ибо зачем же эта культура, если

она недоступна всем и каждому?). Так казалось бы... но ведь тогда погибнет мелкое индивидуальное самостоятельное трудовое крестьянство, а его сохранение и есть главная задача современных Мининных. И вот им приходится действовать поистине „утопическими“ способами. Нужно удесятерить урожай на грядках? Пустяки, будем считать, что интенсивный труд „свободного“ крестьянина дает в стране утопии 500 пудов с десятины вместо прежних 40... Увеличится население еще раза в два,—можно также довести урожай до 1000 пудов и так далее. Просто и ясно, только—не убедительно.

Но пойдем дальше. Крестьянство победило рабочий класс, но оно не уничтожило промышленности, оно даже не уничтожило частной промышленности. Правда, повидимому, значительная доля промышленности находится в руках кооперативов, однако, все те предприятия, в которых „бессильно коллективное управление“ или где „организаторский гений высотой техники побеждает драконовское обложение“, сохранили капиталистический характер. Вдумайтесь в эти оговорки, и вы убедитесь, что как раз наиболее крупная и технически высокостоящая промышленность осталась капиталистической. Ибо как раз в этой промышленности „организаторский гений“ всегда делал чудеса, и только эта промышленность, при наличии конкуренции, в состоянии побеждать и драконовское обложение и все законы по охране труда, которые, по словам Минина, у них более действительны, чем при диктатуре пролетариата. Вместе с тем капиталистическая промышленность должна служить для „товарищей-кооператоров“ той щучкой в море, которая своей конкуренцией не дает дремать кооперативному карасю. Из всего

этого мы устраиваем самую пикантную черту „крестьянской утопии“, именно — сохранение товарного хозяйства и денежного обращения (см. газету, где цены на продаваемые предметы определяются в граммах золота). Это очень характерно и правдиво: в стране индивидуального крестьянского хозяйства, конечно, должны сохраниться и товарное хозяйство, и деньги, и вольная торговля, и, следовательно, эксплуатация труда, неравенство имуществ (в этом признается сам Минин), и капитализм, и все прелести только что упраздненного в России экономического строя. Только официально все это сохраняется якобы во имя свободы инициативы, повышения производительности труда и уж, конечно, на благо господствующего класса крестьян.

Крестьянство, как господствующий класс, очерчено в утопии весьма реалистично: оно, конечно, не может существовать без промышленности, но вместе с тем заинтересовано, чтобы продукты промышленности были возможно дешевле. Для его громадных потребностей необходим многочисленный фабрично-заводский пролетариат, но этот класс был побежден в революции, — и вот задача разрешается отдачей рабочих в руки капиталистов (частных и кооператоров) и в то же время ограждением их законами об охране труда. Их, как рабов, заставляют работать на крестьянское общество, но, чтобы раб не бунтовал и не стязался вновь захватить власть, их ограждают от чрезмерной эксплуатации. Так, по законам природы, и должен поступать толковый хозяйственный мужичек.

Однако, самих этих крестьян мы в утопии не замечаем: правителями является профессиональная интеллигенция из кооператоров. И этот факт

блестяще подтверждает слова К. Маркса, сказанные им по поводу мелкого французского крестьянства в „18 брюмера Людовика Бонапарт“: „Они бессильны защищать свои классовые интересы от своего имени в парламенте или конвенте. Они не могут представлять себя, они должны быть представлены. Их представитель должен быть вместе с тем их господином, должен явиться перед ними как авторитет, как неограниченная правительственная власть, защищающая их от других классов и посылающая им сверху и дождь и ведро“.

Эти слова осуществлены в утопии Ив. Кремнева с поразительной точностью. Крестьянский государством управляет самодержавно кучка интеллигентов-кооператоров, решающая все дела за крестьян. Послушайте язык, которым говорит Минин: „Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут, а общество невидимыми для личности путями блюло бы общественный интерес“. Не то, чтобы люди старались постигнуть законы развития общества и, как познавшие их, вести общество наиболее безболезненным путем к его будущему, — нет, они, как жрецы, сидят в тиши своего интеллигентского свята-святых и от чистого разума „строят человеческое общество“ по заранее обдуманному рецепту. Это ли не „авторитет“, это ли не „неограниченная власть“, думающая и решающая за представляемый ею класс? И эта власть „защищает“ своих питомцев от других классов: она обезвредила беспокойного рабочего, она обставила „драконовскими налогами“ капиталиста, она создала „русскую систему“ в мировом хозяйстве, чем оградила русский хлеб от конкуренции

технически более высоко стоящих стран и дала русскому крестьянину возможность регулировать хлебные цены в пределах этой системы, применительно к издержкам производства в мелком крестьянском хозяйстве *). Наконец,—и это до смешного характерно, она посылает крестьянину „дождь и ведро“. Как только почва нуждается во влаге, пускаются в ход громадные магнитные станции, с желаемой точностью вызывающие требуемое количество дождя. Прямо таки по Марксу! При такой власти крестьянину не о чем думать, не о чем беспокоиться: работай, а в свободное время слушай концерты московских колоколов.

Описанный автором строй есть господство интеллигентской олигархии, стремящейся удовлетворять классовые потребности мелкого крестьянства и достигающей этой цели лишь благодаря созданию изолированного хозяйства в замкнутой, отрезанной от всего мира, хозяйственной системе. Это есть хорошо знакомая нам организация крупных кооперативных объединений, возведенная в социальный идеал и приукрашенная всеми теми культурно-идеологическими аксессуарами, которые составляют неотъемлемую часть всех социалистических утопий. Этот строй „утопичен“ в повсе-

*) Так как ценность продукта определяется количеством вложенного в него общественно необходимого труда, то двойное количество хлеба, собранное с десятины вследствие удвоения количества труда (удвоение интенсивности), не изменит ценности единицы хлеба; между тем то же удвоение продукта, достигнутое путем увеличения производительности труда (введение машин и т. п.), при прежней его интенсивности, понизит ценность хлеба вдвое. В стране мелкого крестьянского производства хлеб, естественно, будет дороже, чем в Америке, широко применяющей машинное производство, а потому вся „утопия“ держится только на искусственном обособлении „русской системы“. Снимите эту перегородку—и вся система рухнет.

дневном значении слова, т.-е. лишен всякой реально-исторической почвы, ибо весь построен на непримиримых противоречиях. Думать, что можно сохранить какое-то общественное равенство и общественную справедливость, сохранив индивидуальное хозяйство, а в промышленности даже капиталистическое производство; думать, что, наряду с громадным и все растущим, поощряемым правительством развитием техники, к тому же при капиталистическом хозяйстве, может существовать замиренный, счастливый своим пайком, законодательством о труде, рабочий класс; думать, что на почве, подготовленной мировым империализмом и рабочим Интернационалом, можно создать особую замкнутую, огражденную китайской стеной и дождевой завесой „русскую систему“, для которой не писаны общие экономические и социальные законы,—думать все это, значит, не понимать законов развития современных обществ, значит, ничему не научиться ни у капитализма, ни у социализма.

От первобытного общества человечество идет в „страну утопии“, т.-е. к высшему, социалистическому обществу путем упорной, беспощадной борьбы классов за существование, за освобождение, за господство. Каждый успешный шаг этой борьбы ознаменовывается завоеванием техники, т.-е. экономией труда, уменьшением доли труда и увеличением доли орудий в сумме производительных сил; и каждый такой успешный шаг является исходной точкой для дальнейшей борьбы в том же направлении. И иначе быть не может. Освобождение человека, человеческой личности, поднятие его с уровня рабочего вола до уровня разумного, культурного, сознательного общества может идти только рука об руку с ос-

вобождением его от проклятия труда, от необходимости отдавать всего себя тяжелому, притупляющему физическому труду. Апология труда, как такового, была создана буржуазными идеологами, но они, возводя труд в добродетель, приукрашивали чужой труд, труд пролетариата. Тот труд, который проповедует коммунизм, покоится на сознательной, разумной воле трудящегося, т. е. предполагает уже освобождение его от порабощающего труда капиталистического общества. Таким образом, сокращение труда, облегчение его, замена труда человека работой машин, вообще говоря, превращение человека из раба производства в его хозяина—вот основная, необходимая, обязательная предпосылка социализма.

В стране крестьянской утопии это условие не соблюдено, по крайней мере, на деле. Принятые там формы крестьянского хозяйства требуют не только высоко напряженного, но и изнуряюще продолжительного труда, т. е. отбрасывают нас назад даже от капиталистических форм сельского хозяйства, где рабочее время регулируется стачками и профессиональными союзами, поэтому эта утопия реакционна. Вместо движения вперед человеческой мысли в поисках новых путей и новых форм, она выдвигает, в виде идеала, старое, давно изжитое, подкрашивая его фангастическими колерами и изображая, как заманчивое счастливое будущее. И реакционность всей этой социально-экономической формы ярко выступает в реакционности ее идеологии. В самом деле, Минин откровенно заявляет, что в „крестьянской утопии“ ничего нового нет. „В сущности нам были не нужны какие-либо новые начала, наша задача состояла в утверждении старых вековых начал, покои веков бывших основой крестьянского хозяйства“.

А посмотрите на мелочи, так кричаще характерные: преобладающий стиль в квартире Мининых — сильно руссифицированный Вавилон. Национальное увлечение — игра в бабки. Популярная музыка — концерт на колоколах (есть, значит, и колокола, и церкви и, последовательно охраняя „старые вековые начала“, должны быть и делать свою работу и поны). В ресторанах служители носят белые рубахи и штаны, как в былое время половые; крестьянская гвардия наряжается в костюмы стрельцов времен царя Алексея Михайловича и т. п.

И надо отдать справедливость, что именно в изображении этой реакционной идеологии автор гораздо более прав, чем когда он рисует социалистические красоты крестьянской утопии. Именно, изображая государство, где мелкое крестьянство является господствующим классом, надо понимать, что с ним внутренне неразрывно связаны колокола, белые рубашки трактирных половых, бабки и т. п., а никоим образом не картины Боттичелли, сотни фресков или парки на развалинах городов. Последнее все „отсебятина“, которою автор, сам любитель искусства, старается подкрасить скучную мелко-мещанскую жизнь в стране утопии. А реакционная крестьянская идеология — это реальная правда. И если картину утопии обнажить от посторонних красот, получится страна тяжелого крестьянского труда на „грядках“ карликовых наделов, закабаленный фабрично-заводский пролетариат, ловкая, пронырливая капиталистическая буржуазия, умеющая обходить все „драконовские“ законы, а над всем — правящая интеллигенция кооперативного типа, старающаяся всеми мерами поддержать этот нелепый строй.

Но, быть может, спросят, если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее? А вот зачем: эта утопия—явление естественное, неизбежное и интересное. Россия страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политически и более организованным собратом. Пролетариат старается вести крестьянство за собою к социализму, но эта задача требует большой внутренней работы в крестьянине, и на пути этого внутреннего перерождения крестьянство не раз и долго еще будет проявлять тенденции к проявлению своих особых, узко-крестьянских, по существу реакционных идеалов, будет стараться цепляться за старое, сохранить отмирающее, восстановить ушедшее, приукрашивая его обрывками социалистической идеологии. В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии. Одной из таких утопий и является печатаемая ниже. Она имеет те преимущества, что написана образованным, вдумчивым человеком, который, приукрашивая, как все утописты, воображаемое будущее, дает в основе ценный материал для изучения этой идеологии. Он пишет искренно то, во что верит и чего желает; это придает его утопии бесспорный интерес. Мы и печатаем ее с тем, чтобы каждый, рабочий и, особенно, каждый крестьянин, вдумчиво относящийся к переживаемому нами великому перевороту, знал, как представляют себе будущее люди, иначе, чем мы думающие, и мог бы критически и сознательно отнестись к доводам противника.

П Орловский

ПУТЕШЕСТВИЕ МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ
В СТРАНУ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ.

Часть I.

ПОЯВЛЕНИЕ.

Глава первая, в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым.

Было уже далеко за полночь, когда обладатель трудовой книжки № 37413, некогда называющийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.

Туманная дымка осенней ночи застилала заснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях перекрещивающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара и сказочной громадой белели во мраке Китай-городские стены.

Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца, он, будучи первокурсником-юристом много лет тому назад, купил, вот здесь, направо у букиниста Николаева „Азбуку социальных наук“ Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных

сокровищах Шибановского антикваритета — там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись „Главбум“.

Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул и Иверским, прошел мимо первого дома Советов и потовул в сумраке московских переулков.

А в голове болезненно горели слова, фразы, обрывки фраз, только-что слышанных на митинге Политехнического музея:

„Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю!“

„Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало“.

„Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма“.

Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только-что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.

Глава вторая, повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего.

Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло.

Сквозь стекла большого окна был виден город, внизу в туманной дымке ночи молочными светлыми

пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в черных массивах домов тускло желтели освещенные еще окна.

— „Итак, свершилось“, — подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву — „Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания — официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры утописты?“

И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.

Однако, для него самого — старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то не все ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии еще затемняла социалистическое сознание.

Он прошелся по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплетам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с кожаных корешков солидных переплетов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.

Пробило два. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.

Хорошие, благородные и детски-наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. Чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.

Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, не

банальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.

Кремнев в волнении прочел давно забытую им пророческую страницу:

„Слабые, хилые, глупые поколения“, — писал Герцен, — протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покровом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией“.

— Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? — думалось ему. — Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий.

Он улыбнулся с сожалением. О, вы, Милюковы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знаменах?! Что кроме мракобесия капиталистической реакции имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен... мы живем далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?

Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой и пачка фолиантов *in octo* и *in folio* упала с полки.

Кремнев вздрогнул.

В комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших настенных часов завертелись все быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались кверху, вихрями бумаги наполняя комнату. Стены как-то исказились и дрожали.

У Кремнева кружилась голова и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в столовую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Ее не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натыкался на незнакомые предметы. Голова кружилась и сознание мутнело, как во время морской болезни.

Истощенный усилиями, Алексей опустился на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.

Глава третья, изображающая появление Кремнева в стране утопии, и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия.

Серебристый звонок разбудил Кремнева.

— Алло, да, это я, — слышался женский голос. — Да, приехал... очевидно сегодня ночью... Еще спит... Очень устал, заснул не раздеваясь... Хорошо. Я по звоню.

Голос шлепа и шуршание юбок указало, что его обладательница вышла из комнаты.

Кремнев приподнялся на диване и протер в изумлении глаза.

Он лежал в большой желтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелено-желтой обивкой, желтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались легкие женские шаги. Скрипнула дверь и все смолкло.

Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчет в случившемся, и быстро подошел к окну.

На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.

Внизу расстился город... Несомненно, это была Москва.

Налево высилась громада Кремлевских башен, напрасно краснела Сухаревка, а там вдали гордо возносились Кадаши.

Вид знакомый уже много, много лет.

Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своем месте дома Нирензее... Зато все кругом утопало в садах... Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью.

Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преобразенная и просветленная.

— Неужели я сделался героем утопического романа?—воскликнул Кремнев.—Признаюсь, довольно глупое положение!

Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом, рассчитывая найти какой-нибудь отправный пункт к познанию нового окружающего его мира.

— Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося? Дивная анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?

Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры и жили сообща. Но этого было еще слишком мало, чтобы понять сущность окружающего.

Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.

В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был сильно руссифицированный Вавилон.

Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекавшая его внимание.

С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брегеля старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили и несомненно

сюжетом служило что-то в роде отлета аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.

Кремнев подошел к большому рабочему столу, сделанному из чего-то в роде плотной пробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практика социализма» В. Шер'а, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мемуаров Е. Кусковой, великолепное издание «Медного всадника», брошюра «О трансформации В—энергии» и, наконец, его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.

Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.

Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листка.

«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры». «Печальной памяти государственный коллективизм»... «Это было во времена капиталистические, т.-е. почти во времена доисторические...» «Англо-французская изолированная система» — все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.

Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом слышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.

— Ах, вы уже встали... — весело сказала она. — Я проспала вчера ваш приезд.

Звонок повторился.

— Простите, это должно быть брат беспокоится о вас... алло... да, он уже встал... не знаю право... сейчас спрошу... Вы говорите по-русски, господин... Чарли... Мен... если не ошибаюсь».

— Конечно, конечно, — неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.

— Говорит и даже с московским акцентом... хорошо, я передам трубку.

Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминающее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним, в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всем, и кладя аппарат сознал вполне, вполне отчетливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.

Девушки уже не было в комнате. С решимостью отчаяния Алексей бросился к столу, рассчитывая в бумагах и пачках телеграмм найти хотя бы какойнибудь просвет окружающей тайны.

Удача сопутствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание последнего посетить Россию и ознакомиться с ее инженерными установками в области земледелия.

Глава четвертая, продолжающая третью и отделенная от нее только для того, чтобы главы не были очень длинными.

Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака.

Алексей был очарован этой утопической женщиной, ее почти классической головой, идеально посаженной на крепкой сильной шее, широкими плечами

а полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием торот рубашки.

Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживленным разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлек разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи.

Молодая девушка, которую звали Параскевой, с жаром юношеского увлечения повествовала о своих любимых мастерах: старом Брегеле, Ван Гогге, старике Рыбникове и великолепном Ладанове. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского или дьявольского, но превышающего силы человеческие.

Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с творцом вселенной, ценила в картине силу волшебства, прометееву искру, дающую новую сущность, и в сущности была близка к реализму старых мастеров Фландрии.

Из ее слов Кремнев понял, что после живописи эпохи великой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, наступил период барокко - футуризма, футуризма укрошенного и сладостного.

Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства; в моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты, и залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Боттичелли и Краннаха почти не находили себе посетителей. Однако, подчиняясь кругу времен и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески ~~этим временем~~ бурной полосой прошла

эпоха натюр-морта и голубой гаммы, затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века и наступило царство реализма с Питером Брегелем, как кумиром.

Два часа прошли незаметно и Алексей не знал, слушать ли ему глубокий контральто своей собеседницы, или же рассматривать тяжелые косы, заплетенные на ее голове.

Широкооткрытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.

Глава пятая, чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года.

— Я повезу вас через весь город, — сказал брат Параскевы, Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль, — и вы увидите нашу теперешнюю Москву.

Автомобиль двинулся.

Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки.

Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVIII веках.

За густыми кронами желтеющих кленов мелькнули купола Барышей, расступившиеся липы открыли пышные контуры растрелевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Словом, они ехали по утопической Покровке.

— Сколько жителей в вашей Москве? — спросил Кремнев своего спутника.

— На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города » об-ла-сте территории

эпохи великой революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй, 100.000 человек, но лет сорок назад, непосредственно после великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более 30.000. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы можем получить цифру, превышающую пять миллионов.

Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже; архитектурные массивы сдвигались все теснее и теснее, стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов, сплошным потоком стремились к центру города, по широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие черного цвета; яркие голубые, красные, синие, желтые, почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собою нечто вроде сарафанов с кринолином, но все же являющими собою достаточное разнообразие форм.

В толпе сновали газетчики, продавщики цветов, сбитня и сигар. Над головою толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжей, увешанных флажками.

Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом: „Решительная!! Ваня вологжанин против Тер-Маркельянца! Два жоха/ и одна ничка!“

В толпе оживленно спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плочке и ничке.

Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал:

— Национальная игра! Сегодня последний день международного состязания на звание первого игрока в бабки. Тифлисский чемпион по игре в козыи кочи оспаривает бабошное первенство у вологжанина... Да только Ваня себя в обиду не даст, и к вечеру Театральная площадь в пятый раз увидит его победителем.

Автомобиль все замедлял свой бег, миновал Лубянскую площадь, сохранившую и Китай-городскую стену и Виталиевских мальчиков, и спускался мимо Первопечатника вниз. Театральная площадь была залита морем голов, фейерверком ярких, горящих на солнце флагов, многоярусными трибунами, поднимавшимися почти до крыши Большого театра, и ревом толпы. Игра в бабки была в полном разгаре.

Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилося. Метрополя не было. На его месте был разбит сквер и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица.

Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков.

Автомобиль круто повернул налево, и они пронеслись почти у подножья монумента.

Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур—Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу около наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не мог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки:

— Памятник деятелям великой революции.

— Да послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовали в своей жизни таких мирных групп!

— Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница! Хоп! чорт подери, чуть песика не задавил!...

Автомобиль шарахнулся налево, дама с собачкой направо; поворот, машина ныряет в какую-то подземную трубу, несколько мгновений несется с бешеной скоростью под землей в ярко освещенном тоннеле, вылетает на берег Москвы-реки и останавливается около террасы, установленной столиками.

— Давайте на дорогу коку с соком выпьем, — сказал Минин, вылезая из ауто.

Кремнев оглянулся кругом, перед ним высилась громада моста, настолько точно воспроизводящего Каменный мост XVII века, что он казался сошедшим с гравюры Пикара. А сзади в полном великолепии, горя золотыми куполами, высился Кремль, со всех сторон охваченный золотом осеннего леса.

Половой в традиционных белых брюках и рубашке принес какой-то напиток, напоминающий гоголь-моголь, смешанный с цукатами, и наши спутники некоторое время молча созерцали.

— Простите, — начал Кремнев после некоторого молчания. — Мне, как иностранцу, непонятна организация вашего города и я не совсем представляю себе историю его расселения.

— Первоначально на переустройство Москвы повлияли причины политического свойства, — ответил его спутник. — В 1934 г., когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство

Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на Съезде Советов известный, конечно, и у вас в Вашингтоне декрет об уничтожении городов свыше 20.000 жителей.

Конечно, труднее всего этот декрет было выполнить в отношении к Москве, насчитывающей в 30-е годы свыше четырех миллионов населения. Но упрямое упорство вождей и техническая мощь инженерного корпуса позволили справиться с этой задачей в течение 10 лет.

Железнодорожные мастерские и товарные станции были отодвинуты на линию пятой окружной дороги, железнодорожники двадцати двух радиальных линий и семьи их были расселены вдоль по линии не ближе того же пятого пояса, т.-е. станции Раменского, Кубинки, Клина и прочих. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы.

К 1937 году улицы Москвы начали пустеть, после заговора Варварина работы естественно усилились, инженерный корпус приступил к планировке новой Москвы, сотнями уничтожались московские небоскребы, нередко прибегали к динамиту. Отец мой помнит, как в 1939 г. самые смелые из наших вождей, бродя по городу развалин, готовы были сами себя признать вандалами, настолько уничтожающую картину разрушения являла собой Москва. Однако, перед разрушителями лежали чертежи Желтовского и упорная работа продолжалась. Для успокоения жителей и Европы, в 1940 году набело закончили один сектор, который поразил и успокоил умы, а в 1944 все приняло теперешний вид.

Минин вынул из кармана небольшой план города и развернул его.

— Теперь, однако, крестьянский режим настолько окреп, что этот священный для нас декрет уже не соблюдается с прежней пуританской строгостью. Население Москвы нарастает настолько сильно, что наши муниципалы для соблюдения буквы закона считают за Москву только территорию древнего Белого города, т.-е. черту бульваров дореволюционной эпохи.

Кремнев, внимательно рассматривавший карту, поднял глаза.

— Простите, — сказал он, — это какая-то софистика, вот то, что кругом Белого города, ведь это тоже почти что город. Да и вообще я не понимаю как могла безболезненно пройти ваша аграризация страны и какую жалкую роль могут играть в народном хозяйстве ваши города-пигмеи“.

— Мне очень трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Видите ли, раньше город был самодовлеющ, деревня была не более как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения узла социальных связей. Каждый из наших городов это — просто место собрания, центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и некоторых дел. Пункт, а не социальное существо.

Минин поднял стакан, залпом осушил его и продолжал:

— Возьмите Москву, на сто тысяч жителей в ней гостиниц на 4 миллиона, в уездных городах на 10.000 — гостиниц на 100.000 и они почти не пустуют. Пути сообщения таковы, что каждый крестьянин, затратив час или полтора, может быть в своем городе и бывает в нем часто.

Однако, пора и в путь. Нам нужно сделать изрядный крюк и заехать в Архангельское за Катериной.

Автомобиль снова двинулся в путь, свернув к Пречистенскому бульвару. Кремнев оглянулся с изумлением: вместо золотого и блестящего, как тульский самовар Храма Христа Спасителя, увидел титанические развалины, увитые плющем и очевидно тщательно поддерживаемые.

Глава шестая, в которой читатель убедится, что в Архангельском за 80 лет не разучились делать ванильные ватрушки к чаю.

Старинный памятник Пушкину возвышался среди разросшихся лип Тверского бульвара.

Воздвигнутый на том месте, где некогда Наполеоном были повешены мнимые поджигатели Москвы, он был немым свидетелем грозных событий истории российской.

Помнил баррикады 1905 года, ночные митинги и большевистские пушки 1917, траншеи крестьянской гвардии 1932 и варваринские бомбометы 1937, и продолжал стоять в той же спокойной сосредоточенности, ожидая дальнейших.

Один только раз он пытался вмешаться в бушующую стихию политических страстей и напомнил собравшимся у его ног свою сказку о рыбаке и рыбке, но его не послушались...

Автомобиль свернул в Большие Аллеи запада. Здесь когда то тянулись линии Тверских-Ямских, тихих и запыленных улиц. Роскошные липы Западного парка сменили их однообразные строения и как остров среди волнующегося зеленого моря, виднелись среди зарослей купола собора и белые стены Шанявского университета.

Ив. Кремнев.

Тысячи автомобилей скользили по асфальтам большого Западного пути. Газетчики и продавщицы цветов сновали в пестрой толпе оживленных аллей, сверкали желтые тенты кофеен, в застывших облаках чернели сотни больших и малых точек аэропиль и грузные пассажирские аэролеты поднимались кверху отправляясь в путь с западного аэродрома.

Автомобиль промчался мимо аллей Петровского парка, залитого шумом детских голосов, скользнул мимо оранжерей Серебряного бора, круто повернул влево, и как сорвавшаяся с рельсов с рела, ринулся по Звенигородскому шоссе.

Город как будто бы и не кончался. Направо и налево тянулись такие же прекрасные аллеи, белели двухэтажные домики, иногда целые архитектурные группы и только вместо цветов между стенами тутовых деревьев и яблонь лежали полосы огорода, тучные пастбища и сжатые полосы хлебов.

— Однако, — обернулся Кремнев к своему спутнику, — ваш декрет об уничтожении городских поселений, который, казалось, сохранился только на бумаге. Московские улицы протянулись далеко за Всехсвятское.

— Простите, мистер Чарли, но это уже не город, это типичная русская деревня севера, — и он рассказал удавленному Кремневу, что при той плотности населения, которого достигло крестьянство Московской губернии, деревня приняла необычный для сельских поселений вид. Вся страна образует теперь кругом Москвы на сотни верст сплошное сельскохозяйственное поселение, прерываемое квадратами общественных лесов, полосами кооперативных выгонов и огромными климатическими парками.

— В районах хуторского расселения, где семейный надел оставляет 3 — 4 десятины, крестьянские дома, на протяжении многих десятков верст, стоят почти

рядом друг с другом, и только распространенные теперь плотные кулисы туговых или фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого. Да в сущности и теперь пора бросить старомодное деление на город и деревню, ибо мы имеем только более сгущенный или более разреженный тип поселения того же самого земледельческого населения.

— Вы видите группы зданий, — Мэни показала вглубь налево, — несколько выделяющихся по своим размерам. Это — „городища“, как принято их теперь называть. Местная школа, библиотека, зал для спектаклей и танцев и прочие общественные учреждения. Маленький социальный узел. Теперешние города такие же социальные узлы той же сельской жизни, только больших размеров. А вот мы и приехали.

Лес расступился и вдали показались стройные стены Архангельского дворца.

Крутой поворот и авто, шумя по гравийному шоссе, миновал широкие ворота, увенчанные трубящим архангелом, и остановился около оранжерейного корпуса, спугнув целую стаю молодых девушек, игравших в сеосо.

Белые, розовые, голубые платья окружили приехавших, и девушка, лет семнадцати, с криком радости бросилась в объятия Алексеева спутника.

— Мистер Чарли Мен, а это Катерина, сестра!

Через минуту на лужайке архангельского парка, рядом с бюстоколоннами античных философов, гости были усажены у шумящего самовара за стол, на льняных скатертях которого высились горы румяных ватрушек.

Алексей был закармливан ватрушками, обольстительными, пышными, ванильными ватрушками и душистым чаем, засыпан цветами и вопросами об америкаческих нравах и обычаях и о том, умеют ли в Америке писать стихи, и боясь попасть в просак,

сам перешел в наступление, задавая собеседницам по два вопроса на каждый получаемый от них.

Уплетая ватрушку за ватрушкой, он узнал, что Архангельское принадлежало „Братству святого Флора и Лавра“, своеобразному светскому монастырю, братья коего вербовались среди талантливых юношей и девушек, выдвинувшихся в искусствах и науках.

В амфиладе комнат старого дворца и липовых аллеях парка, освещенных былыми посещениями Пушкина и блистательной, галантной жизнью Бориса Николаевича Юсупова с его вольтерьянством и колоссальной библиотекой, посвященной французской революции и кулинарии, — шумела юная толпа носителей Прометеева огня творчества, делившая труды с радостями жизни.

Братство владело двумя десятками огромных и чудесных имений, разбросанных по России и Азии, снабженных библиотеками, лабораториями, картинными галереями и, насколько можно было понять, являлось одной из наиболее мощных творческих сил страны. Алексея поразили строгие правила устава, почти монастырского по типу, и та сияющая, звенящая радость, которая пропитывала все кругом: и деревья, и статуи, и лица хозяев, и даже волокна осенних паутин, реющих под солнцем.

Но все это было ничтожно в сравнении с глубоким взором и певучим голосом Параскевиной сестры. Положительно утопические женщины сводили Алексея с ума.

Глава седьмая, убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья — и всегда семьей останется.

— Скорее, скорее, друзья мои, — торопил спутников Никифор Алексеевич, укладывая Катеринины баулы

и саки в автомобиль. — На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя и через час метеореформы поднимут целые вихри.

Хотя Кремневу, услышав эту тираду, полагалось бы удивиться и расспрашивать, он этого не сделал, так как всецело был увлечен укугиванием в шарфы Параскевиной сестры.

Зато, когда машина бесшумно неслась по полотну Ново-Иерусалимского шоссе и по обе стороны его мелькали поля с тысячами трудящихся на них крестьян, спешивших до дождя увезти последние скирды неубранного еще овса, он не удержался и спросил своего спутника:

— За коим чертом, вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющаяся погодой, бессильна механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?

— Вот он, американец-то где оказался! — воскликнул Минин — Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины, получаются чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь ручным, как теперь. И это не блажь, а необходимость при нашей плотности населения. Так-то!

Он замолчал и усилил скорость. Ветер свистал, и шарфы Катерины развевались над автомобилем. Алексей смотрел на ее ресницы, на губы, просвечивающие сквозь складки шарфа, и она казалась ему бесконечно знакомой... А ласковая улыбка наполняла радостью и уютом его душу.

Темнело и на небе громоздились тучи, когда автомобиль подъехал к домикам, поместившимся на крутосклонах реки Ламы.

Обширная семья Мининых занимала несколько маленьких домиков, построенных в простых формах XVI века и обнесенных тыном, придававшим усадьбе вид дремлого городка. Лай собак и гул голосов встретил подъехавших у ворот. Какой-то дюжий парень схватил в охапку Катерину, две девочки и мальчик набросились на свертки с припасами из Москвы, девица гимназического возраста требовала какого-то письма, а седой старик, оказавшийся главой семьи, Алексеем Александровичем Мининым, взял своего тезку под свое покровительство и пошел отводить ему помещение, удивляясь чистоте его речи и покрою американского платья, живо напомнившего ему моды его глубокого детства.

Минут через десять, умытый и причесанный, и чувствующий смущение всем своим существом, Алексей входил в столовую. За общим столом, усыпанным цветами, жарко спорили о чем-то, и стоило ему показаться на пороге, как он немедленно был выбран в судьи, как человек «совершенно беспристрастный». На его компетентное решение были предоставлены два плоских блюда, одно декорированное раками и черным виноградом, а другая представляющее композицию из лимона, красного винограда и граненого бокала с вином. Две конкурентки, Мег и Наташа, со всей звонкостью своих пятнадцатилетних голосов требовали решить чей натюр-морт «голландец».

С трудом выйдя из затруднения и признав одну композицию забытым оригиналом Якова Путера, а другую плагиатом с Вилема Кольера, Алексей получил в награду аплодисменты и огромный кусок сливочного торта, изобретенного, как ему сообщили, самим профессором кулинарии — отсутствующей Параскевой.

Маленький Антошка пытался узнать у американца, правда ли, что в Гудзоновом заливе клюют на

удочку кошелоты. но тотчас же был отправлен спать. Пожилая дама, наливая третий стакан чая, осведомилась, есть ли у Алексея дети и недоумевала, как могла его жена отпустить лететь через Атлантический океан. Весьма опечаленная уверением Алексея в отсутствии у него всяких признаков супруги, она хотела продолжать свои расспросы дальше, но чьи то руки закрыли его глаза платком и он понял, скорее почувствовал, сзади себя присутствие Катерины.

— В жмурки. в жмурки, — кричала дегвора, увлекая его в залу. и ему пришлось не мало побегать, пока Катерина не попала в его объятия.

Появившийся Алексей Александрович восстановил порядок и, освободив Кремнева из плена и усадив около камина, произнес:

— Сегодня с дороги я не хочу затруднять вас деловыми разговорами. Но все же скажите, каково первое впечатление изолированного американца от наших палестин?

Кремнев рассыпался в уверении своего удивления и восхищения, но звуки клавесина прервали их беседу. Катерина усадила своего брата аккомпанировать и цела романс Александра на слова Державина:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш блистая
То льдом, то искрами манят!"

Затем последовал «Павлин», дуэт «Новоселье молодых», и Кремнев чувствовал, что поет она для него, что никому не хочет она отдавать его внимания.

За окном густыми потоками лил «генеральный» дождь, назначенный с 9 до 2 ночи. Комната стала еще уютнее, спокой семейной тишины согревался

догорающим камином. Тетя Василиса гадала Наташе на картах, а молодежь строила планы, как лучше показать американцу «Ярополец» и «Белую Колпь». Однако, Алексей Александрович категорически заявил, что он абонирует мистера Чарли на все утро и что всем пора спать.

Кремнев выпросил у Мег почитать на сон грядущий учебник всеобщей истории и стал перебирать-ся под руководством Катерины и адским дождем в отведенный ему флигель.

Глава восьмая, историческая.

Катерина, устроив Кремневу постель и положив на стол горсть пряников и фиников, посмотрела на него пристально и вдруг спросила:

— А у вас в Америке все такие, как Вы?

Смущенный Алексей опешил, а не менее смущенная девица убежала, хлопнув дверью, и в отпелых стеклах окна мелькнул огонек ее удаляющегося фонаря.

Кремнев остался один.

Он долго не мог притти в себя от впечатлений чудовищного дня, в котором однако все виденные чудеса подавлялись чарующим образом Параскевиной сестры.

Очнувшись, Кремнев разделся и раскрыл исторический учебник.

В начале он ничего не мог понять: пространно излагалась история Яропольской волости, затем история Волоколамска, Московской губернии, и только в конце книги страницы содержали в себе повествование о русской и мировой истории.

С возрастающим волнением глотал Кремнев страницу за страницей, закусывая исторические события пряниками Катерины.

Прочитав изложение событий своей эпохи, Кремнев узнал, что мировое единство социалистической системы держалось недолго и центробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие. Идея военного реванша не могла быть вытравлена из германской души никакими догматами социализма, и по пустяшному поводу раздела угля Сарского бассейна немецкие профессиональные союзы принудили своего президента Радека мобилизовав немецких металлистов и углекопов и занять Сарский бассейн вооруженной силой, впредь до разрешения вопроса Съездом Мирсовнархоза.

Европа снова распалась на составные части. Постройка мирового единства рухнула и началась новая кровопролитная война, во время которой во Франции старику Эрве удалось провести социальный переворот и установить олигархию ответственных советских работников. После шести месяцев кровопролития совместными усилиями Америки и Скандинавского объединения мир был восстановлен, но ценою разделения мира на пять замкнутых народнохозяйственных систем — немецкой, англо-французской, американо-австралийской, японо-китайской и русской. Каждая изолированная система получила различные куски территории во всех климатах, достаточные для законченного построения народнохозяйственной жизни, и в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажили весьма различной по укладу политической и хозяйственной жизнью.

В Англо-Франции весьма скоро олигархия советских служащих выродилась в капиталистический режим, Америка, вернувшись к парламентаризму, в некоторой части денационализировала свое производство, сохраняя, однако, в основе государственное хозяйство в земледелии, Японо-Китай быстро вернулся политически к монархизму, сохранив своеоб-

разные формы социализма в народном хозяйстве, одна только Германия в полной неприкосновенности донесла режим двадцатых годов.

История же России представлялась в следующем виде. Свято храня советский строй, она не могла до конца национализировать земледелие.

Крестьянство, представлявшее собой огромный социальный массив, туго поддавалось коммунизации и через пять—шесть лет после прекращения гражданской войны, крестьянские группы стали получать внушительное влияние как в местных советах, так равно и в В. Ц. И. К.

Их сила значительно ослаблялась соглашательской политикой пяти эсеровских партий, которые не раз ослабляли влияние чисто классовых крестьянских объединений.

В течение десяти лет на съездах советов ни одно течение не имело устойчивого большинства, и власть фактически принадлежала двум коммунистическим фракциям, всегда умеющим в критические моменты сговориться и бросить рабочие массы на внушительные уличные демонстрации.

Однако, конфликт, возникший между ними по поводу декрета о принудительном введении методов „евгеники“, создал положение, при котором правые коммунисты остались победителями ценою установления коалиционного правительства и видоизменения конституции уравниванием силы лоты крестьян и горожан. Перевыборы советов дали новый съезд советов с абсолютным перевесом чисто классовых крестьянских группировок, и с 1932 года крестьянское большинство постоянно пребывает в В. Ц. И. К. и съездах, и режим путем медленной эволюции становится все более и более крестьянским.

Однако двойственная политика эсеровских интеллигентских кругов и метод уличных демонстраций

и восстаний не раз колеблет основы советской конституции и заставляет крестьянских вождей держаться коалиции при организации Совнаркома, чему способствовали неоднократные попытки реакционного переворота со стороны некоторых городских элементов. В 1934 г. после восстания, имевшего целью установление интеллигентской олигархии наподобие французской, поддержанного из тактических соображений металлистами и текстилями, Митрофанов организует впервые чисто классовый крестьянский Совнарком и проводит декрет через съезд советов об уничтожении городов.

Восстание Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли городов, после чего они растворились в крестьянском море.

В сороковых годах был утвержден и проведен в жизнь генеральный план земельного устройства и были установлены метеорофоры, сеть силовых магнитных станций, управляющих погодой по методам А. А. Минина. Шестидесятые годы ознаменовались бурными религиозными волнениями и попыткой церкви захватить в Ростовском районе светскую власть. Глаза слипались и утомленный мозг отказывался что либо воспринимать.

Кремнев загасил огонь и закрыл глаза. Однако ему долго мерещились глаза Катерины и он смог уснуть только глубокой ночью.

Глава девятая, которую молодые читательницы могут и пропустить, но которая рекомендуется особому вниманию членов коммунистической партии.

Книжные полки, сверкавшие тусклой позолотой кожаных переплетов, и несколько владими́ро-суз-

дальских икон были единственным украшением обширного кабинета Алексея Александровича Минина.

Портрет его отца, известного воронежского, а впоследствии константинопольского профессора, дополнял убранство комнаты, выдержанной в глубоких кубовых тонах.

— Моя обязанность, — начал гостеприимный хозяин, — ознакомить вас с сущностью окружающей нас жизни, так как без этого знакомства вы не поймете значения наших инженерных установок и даже самой возможности их. Но право, мистер Чарли, я теряюсь, с чего начать. Вы почти что пришлец с того света, и мне трудно судить, в какой области нашей жизни встретили вы для себя особенно новое и неожиданное.

— Мне бы хотелось, — сказал Кремнев, — узнать те новые социальные основы, на которых сложилась русская жизнь после крестьянской революции 30 г., без них, мне кажется, будет трудно понять все остальное.

Его собеседник ответил не сразу, как бы обдумывая свой рассказ.

— Вы спрашиваете, — начал он — о тех новых началах, которое внесла в нашу социальную и экономическую жизнь крестьянская власть. В сущности нам были не нужны какие-либо новые начала, наша задача состояла в утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства.

Мы стремились только к тому, чтобы утвердить эти великие извечные начала, углубить их культурную ценность, духовно преобразить их и придать их воплощению такую социально-техническую организацию, при которой они бы проявляли не только исключительную пассивную сопротивляемость, из-

вечно им свойственную, но имели бы активную мощь, гибкость и, если хотите, ударную силу.

В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник—творец, каждое проявление его индивидуальности—искусство труда.

Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие, сгмо собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма.

Однако, для того, чтобы утвердить режим нации XX века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основных организационных проблемы.

Проблему экономическую, требующую для своего разрешения создание такой народнохозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народнохозяйственный аппарат, который бы в своей работе технически не уступал никакому другому мыслимому аппарату и держался бы автоматически без подпорок неэкономического государственного принуждения.

Проблему социальную, или, если хотите, культурную, т.-е. проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие

долго монополей городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях жизни духа, по крайней мере не меньший, чем при всяком другом режиме.

При этом, мистер Чарли, мы должны были не только разрешить обе поставленные проблемы, но глубоко задуматься над средствами для такого разрешения. Для нас было важно не только то, чего мы хотели достичь, но так же и то, как это достижение могло совершиться.

Эпоха государственного коллективизма, когда идеологи рабочего класса осуществляли на земле свои идеалы методами просвещенного абсолютизма, привела русское общество в такое состояние анархической реакции, при котором было невозможно ввести какой-либо новый режим путем приказа или декрета, санкционируемого силою штыка.

Да и самому духу наших идеологов были чужды идеи какой-либо монополии в области социального творчества.

Не являясь сторонниками монистического понимания, мышления и действия, наши вожди в большей своей части имели сознание, способное вместить плюралистическое миропредставление, а потому считали жизнь тогда оправдавшей себя, когда она могла полностью проявить все возможности, все зачатки, в ней заключающиеся.

Нам, говоря короче, нужно было разрешить поставленные проблемы так, чтобы предоставить возможность конкурировать с нами любым начинаниям, любым творческим усилиям. Мы стремились завоевать мир внутренней силой своего дела и своей организации, техническим превосходством своей организационной идеи, а отнюдь не расширением морды всякому иначе мыслящему.

Кроме того, мы всегда признавали государство и его аппарат далеко не единственным выражением жизни общества, а потому в своей реформе в большей своей части оперлись на методы общественного разрешения поставленных проблем, а не на приемы государственного принуждения.

Впрочем, мы никогда не были тупо принципиальны, и когда нашему делу угрожало насилие со стороны, а целесообразность заставляла вспомнить, что в наших руках была государственная власть, то наши пулеметы работали не хуже большевистских.

Из двух очерченных мною проблем, экономическая не представляла нам особенных затруднений.

Вам, наверное, известно, что в социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизироваться „высшие формы крупного коллективного хозяйства“. Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько гинетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма; рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его.

Будучи наемником, рабочий строя свою идеологию, ввел наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями и только единицы обладали правом творчества.

Однако, простите мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство, как протоматерию, ибо обладали эконо-

номическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта.

Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более, как болезненный уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства.

Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства, его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять свое развитие в его русло. Тем паче, что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно мало совершенным по сравнению с строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организованных форм, в котором свободная личная инициатива дает возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, предоставляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций.

Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело на степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущества над мелким, в своем настоящем виде представляет организм наиболее устойчивый и технически совершенный.

Такова опора нашего народного хозяйства. Гораздо труднее было поставить обрабатывающую про-

мышленность. Было бы, конечно, глупо рассчитывать в этой области на возрождение семейного производства.

Ремесло и кустарничество при теперешней заводской технике исключено в подавляющем большинстве отраслей производства. Однако, и здесь нас вывела крестьянская самостоятельность; крестьянская кооперация, обладающая гарантированным и чрезвычайным объемом сбыта, задушила в зародыше для большинства продуктов всякую возможность конкуренции.

Правда, мы в этом несколько помогли ей и сломили хребет капиталистическим фабрикам внушительным податным обложением, не распространявшимся на производства кооперативные.

Однако, частная инициатива капиталистического типа у нас все же существует: в тех областях, в которых бессильны коллективно управляемые предприятия, и в тех случаях, где организаторский гений высотой техники побеждает наше драконовское обложение. Мы даже не стремимся ее прикончить, ибо считаем необходимым сохранить для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их от технического застоя. Мы знаем, что и у теперешних капиталистов щучьи наклонности, но ведь давно известно, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Однако, этот остаточный капитализм у нас весьма ручной, как впрочем и кооперативная промышленность, более склонная брыкаться, ибо наши законы о труде лучше спасают рабочего от эксплуатации, чем даже законы рабочей диктатуры, при которых колоссальная доля прибавочной стоимости усвоялась стадами служащих в главках и центрах.

Ну, а кроме того, сбросив с себя все хозяйственные предприятия, мы оставили за государством лес-

ную, нефтяную и каменноугольную монополию, и владея топливом, правим тем самым всей обрабатывающей промышленностью.

Если к этому прибавить, что наш товарооборот в подавляющей части находится в руках кооперации, а система государственных финансов покоится на обложении ренты предприятий, применяющих наемный труд и на косвенных налогах, то вам в общих чертах ясна будет схема нашего народного хозяйства.

— Простите, я не ослышался, — переспросил Кремнев, — вы сказали, что ваши государственные финансы основаны на косвенных налогах.

— Совершенно верно, — улыбнулся Алексей Александрович. — Вас удивляет столь „отсталый“ метод, коробит в сравнении с вашими американскими подоходными системами. Но будьте уверены, что наши косвенные налоги столь же прогрессивно подходны, как и ваши цензы. Мы достаточно знаем состав и механику потребления любого слоя нашего общества, чтобы строить налоги, главным образом, не на обложении продуктов первой необходимости, а на том, что служит элементом достатка, к тому же у нас, далеко не так велика разница в средних доходах. Косвенное же обложение хорошо тем, что оно ни минуты не отнимает у плательщика. Наша государственная система вообще построена так, что вы можете годы прожить в Волоколамском, положим, уезде и ни разу не вспомнить, что существует государство, как принудительная власть.

Это не значит, что мы имеем слабую государственную организацию. Отнюдь нет. Просто мы придерживаемся таких методов государственной работы, которые избегают брать своих сограждан за шиворот.

В прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народно-хозяйственной жизнью можно

только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных исполнителей план народно-хозяйственной жизни.

Мы всегда полагали, а теперь можем доказать сорокалетним опытом, что эти языческие аксессуары, обременительные и для правителя и для управляемых, теперь столь же нам нужны, как Зевсовы перуны для поддержания теперешней нравственности. Методы этого рода нами давно заброшены, как в свое время были брошены катапульты, тараны, сигнальный телеграф и Кремлевские стены.

Мы владем гораздо более тонкими и действительными средствами косвенного воздействия, и всегда умеем поставить любую отрасль народного хозяйства в такие условия существования, чтобы она соответствовала нашим видам.

Позднее, на ряде конкретных случаев, я постараюсь показать вам силу нашей экономической власти.

Теперь же, в заключение своего народно-хозяйственного очерка, позвольте остановить ваше внимание на двух организационных проблемах, особенно важных для познания нашей системы.

Первая из них — это проблема стимуляции народно-хозяйственной жизни. Если вы припомните эпоху государственного коллективизма и свойственное ей понижение производительных сил народного хозяйства и вдумаетесь в принципы этого явления, то вы поймете, что главные причины лежали вовсе не в самом плане государственного хозяйства.

Нужно отдать должное организационному остроумию Ю. Ларина и В. Милитина: их проекты были очень хорошо задуманы и разработаны в деталях. Но мало еще разработать, нужно осуществить, ибо экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы.

Нужно не только спроектировать машину, но надлежит также найти и подходящие для ее сооружения материалы и ту силу, которая сможет эту машину повернуть. Из соломы не построишь башни Эйфеля, руками двух рабочих непустишь в ход ротационную машину.

Если мы взглянем в досоциалистический мир, то его сложную машину приводили в действие силы человеческой алчности, голода, каждый слагающий от банкира до последнего рабочего имел личный интерес от напряжения хозяйственной своей деятельности, и этот интерес стимулировал его работу. Хозяйственная машина в каждом своем участнике имела моторы, приводящие ее в действие.

Система коммунизма посадила всех участников хозяйственной жизни на штатное поденное вознаграждение и тем лишила их работу всяких признаков стимуляции. Факт работы, конечно, имел место, но напряжение работы отсутствовало, ибо не имело под собой основания. Отсутствие стимуляции сказывалось не только на исполнителях, но и на организаторах производства, ибо они, как и всякие чиновники, были заинтересованы в совершенстве самого хозяйственного действия, в точности и блеске работы хозяйственного аппарата, а вовсе не в результате его работы. Для них впечатление от дела было важнее его материальных результатов.

Беря в свои руки организацию хозяйственной жизни, мы немедленно пустили в ход все моторы, стимулирующие частно-хозяйственное действие — сдельная плата, тантjemы организаторам и премии сверх цен за те продукты крестьянского хозяйства, развитие которых нам было необходимо, например, за продукты тутового дерева на севере.

Восстанавливая частно-хозяйственную стимуляцию, естественно, мы должны были считаться с неравномерным распределением народного дохода.

В этой области львиная доля уже была сделана фактом захвата $\frac{3}{4}$ народно-хозяйственной жизни в области промышленности и торговли кооперативными аппаратами, но все же проблема демократизации народного дохода всегда стояла перед нами.

Мы в первую очередь обратились к ослаблению доли, падающей на нетрудовые доходы—главнейшие мероприятия в этой области — рентные налоги в земледелии, уничтожение акционерных предприятий и частного кредитного посредничества.

Я пользуюсь старыми экономическими терминами, мистер Чарли, чтобы вам было понятно, о чем тут речь, ибо в вашей стране они еще употребляются, у нас же... я право не знаю, известны ли они вообще теперешней молодежи. Таково наше решение экономической проблемы.

Гораздо более сложной и трудной была для нас проблема социальная, удержание и развитие культуры при уничтожении городов и высоких рентных доходов.

— Впрочем, уже звонят к обеду,—остановил свой рассказ Алексеев собеседник, увидав в окно, как Катерина с видимой радостью и ожесточением звонила в чугунное било, висевшее посреди широкого двора.

Глава десятая, в которой описывается ярмарка в Белой Колпи и выясняет полное согласие автора с Анатолем Франсом в том, что повесть без любви то же, что сало без горчицы.

Из сохранившейся „Расходной книги патриаршего приказа“ известно, что в начале осьмнадцатого века

к столу святейшего патриарха Адриана ежедневно подавали: „папашник, присол щучий из живых, огниво белужье в ухе, варанчук севрюжий, шти с тешей, звано с хреном, схаб белужий, пирог косой с телом и еще не менее двадцати блюд, в количествах помраительных и качеством отменных. Сравнивая эту трапезу былых времен с утопической трапезой в гостеприимном доме Мининых, придется признать, что патриарха кормили несколько обильнее, но только несколько... Потому что, подчиняясь повелениям приехавшей из Москвы Параскевы, на обеденный стол являлось такое количество растегаев и кулебяк, запеченных карасей и карасей в сметане и прочей снеди, что ножки у стола навесное бы гнулись, кабы были немного потоньше, а социалистический деятель Кремнев просто решил, что все участники трапезы к вечеру непременно помрут от излишества. Однако, национальные блюда, приготовленные для просвещения американца, тая и в сьма скоро и бесследно и заменялись все растущими похвалами Параскеве, которая скромно просила адресовать их „Русской поварне“, составленной господином Левшиным в 1888 году.

Отдохнув по православному обычаю после обеда на сеновале, молодежь потащила Кремнева на ярмарку в Белую Колпь.

Когда Кремнев и его спутники проходили берегом Ламы, тени облаков плыли по скошенному лугу, по дороге желтели пятна цветущей рябинки и в густом воздухе осени реяли паутины.

Катерина шла высоко подняв голову, и четкий контур ее фигуры, охваченный порывом ветра, выделялся на голубых дадах, стекшихся за рекой. Мег и Наташа рвали цветы. Пахло осенней полынью.

— А вот и большая дорога!

Повернули на шоссе, обсаженное плакучими березами, и вдалеке показались купола белоколонной церкви.

Пугников обгоняли телеги, расписные как подчосы и битком набитые девками и парнями, щелкавшими орехи. Над дорогой эзонко разносились переливы частушек:

Голубок сидит на крыше,
Голубка ж тят убить,
Прие ветуйте, подгужки,
Из троих кого любить“.

Кремнева поразило почти полное отсутствие какой-либо разницы его спутников от встречных и перегоняющих. Те же костюмы, та же московская манера речи и выражений. Параскева весело и с видимым удовольствием отшучивалась от любезностей проезжавших парней, а Катерина просто вскочила в какую-то телегу, перецеловала сидевших в ней девок и отняла у опешившего парня картуз с орехами, сунув ему в рот кусок банана.

Я марка была в самом разгаре

На прилавке лежали горы тульских пряников, поджаренных и с цукатами, тверские мятные стерлядкой и генералом и сочная разноцветная коломенская пастила.

Промелькнувшие столетия ничего не изменили в деревенских сладостях, и только внимательный взгляд мог различить не малое количество засахаренного ананаса, грозди бананов и чрезвычайно большое обилие хорошего шоколада.

Мальчишки свистали, как в доброе старое время, в глиняных золоченых петушков, как, впрочем, они свистали и при царе Иване Васильевиче и в Великом Новгороде. Двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом.

Словом, все было по-хорошему.

Катерина, которой было поручено просвещение „мистера Чарли“, привела его в большую белую палатку и вместо всяких комментариев вымолвила:

— Вот!

Внутренность палатки была увешана картинами старых и новых школ. Кремнев с радостью узнавал „старых знакомых“ — Венецианова, Кончаловского, „Святого Герасима“ рыбниковской кисти, Новгородского „Илью“ Остроуховского собрания и сотни новых незнакомых картин и скульптур, живо напомнивших ему вчерашний разговор с Параскевой.

Он остановился перед „Христом отроком“ Джампетрино, который пленял его в Румянцевском музее, и произнес, рискуя выдать свое инкогнито:

— Каким же образом они могли попасть на ярмарку Белой Колпи?

Параскева поспешила объяснить ему, что балаган представляет собою передвижную выставку Волоколамского музея, в котором временно гастролируют некоторые московские картины.

Густая толпа посетителей, внимательно смотрящих и обменивающихся замечаниями, свидетельствовала Кремневу, что изобразительные искусства вошли весьма прочно в обиход крестьянской жизни и встречают подготовленное понимание. В последнем его убедила энергия, с которой раскупались продающиеся у входа, 132-е издание, книги П. Муратова „История живописи на ста страницах“ и книжки „От Рокотова до Ладанова“, прочтя обложку которой он убедился, что Параскева не только умеет говорить о живописи, но даже пишет книги.

В соседней палатке бабы толпились у образцов древне, русских вышивок, а два парня примерялись к шкафчику Буля.

Вскоре выставка начала пустеть и шум голосов и звон колокола известили о начале ритмических игр, за которыми последовали матч в бабки, бег с препятствиями и другие состязания на первенство Яропольской волости. Огромные голубые афиши обещали на семь часов „Гамлета“ господина Шекспира, в исполнении труппы местного кооперативного союза.

Однако, надо было торопиться домой и зайти на пчельник за медом. Поэтому, оставляя в стороне эти празднества, компания успела завернуть только в паноптикум, выставленный культурно-просветительным отделом губернского крестьянского союза.

Восковые бюсты — портреты всех исторических личностей — стояли по стенам, панорамы знакомили зрителя с величайшими событиями отечественной и мировой истории и диковинными жаркими странами.

Двигающиеся автоматы изображали Юлия Цезаря перед Рубиконом, Наполеона на стенах Кремля, отречение Николая II и его смерть, Ленина, говорящего на съезде советов, Седова, разгоняющего восставших ремингтонисток, поющего баса Шаляпина и баса Гаганова.

— Посмотрите, да это ваш портрет! — воскликнула Катерина.

Кремнев остолбенел: перед ним на полотне под стеклом стоял бюст, напоминавший фотографические карточки, и под ним было подписано:

„Алексей Васильевич Кремнев. член коллегии Мирсовнархоза, душитель крестьянского движения России. По определению врачей, по всей вероятности, страдал манией преследования, дегенерация ясно выражена в асимметрии лица и строении черепа“.

Алексей густо покраснел и боялся взглянуть на спутников.

— Вот здорово-то! сходство изумительное, даже куртка и то как у Вас, мистер Чарли!—воскликнул Никифор Алексеевич.

Все почему-то смутились и в молчании вышли из палатки паноптикума.

Торопились домой, но Катерина утащила Кремнева к пчельнику за медом. Дорога пересекала огороды с капустой. Почти синие, крепкие кочны сочными пятнами подчеркивали черноту земли. Две женщины, сильные и одетые в белые с розовыми крапинками платья, срезали наиболее созревшие из них, бросая в двухколесную тележку.

Алексей, потрясенный лицезрением своего воскового двойника, впервые за все время своего утопического путешествия ясно и до конца почувствовал всю серьезность и безвыходность своего положения.

Первородный грех его самозванного рождения связывал его по рукам и по ногам, настоящее же его имя, очевидно, в царстве крестьянской утопии было равносильно вольному паспорту.

Но этот окружающий мир с капустными огородами, синими далями и красными гроздьями рябины уже не был чуждым ему.

Он чувствовал с ним новую, драгоценную для него связь, близость даже большую, чем к покинутому социалистическому миру и причины этой близости, раскрасневшаяся от быстрого шага Катерина шла рядом с ним, зачарованная, незаметно близко прильнувшая к нему.

Они замедлили шаги, спускаясь по косогору старого русла. Алексей коснулся ее руки и пальцы их сплелись.

Над землей, совершенно черной и вспаханной, четкими рядами поднимались кроны яблонь с ветвями изогнутыми, как на старинной японской гравюре, и отягощенными плодами. Крупные, красные и души-

стые яблоки и стволы белые, намазанные известью, насыщали воздух запахом плодородия и ему казалось, что запах этот просачивается сквозь поры обнаженных рук и шеи его спутницы.

Так началась его утопическая любовь.

Глава одиннадцатая, весьма схожая с главою девятою.

Когда Кремнев и его спутница вернулись домой, то их давно уже ждали с ужином.

Встретили холодно и молча сели за стол. В доме чувствовалась какая-то тревога. Говорили об угрожающих событиях в Германии, о требовании немецкого совнаркома пересмотреть галицийскую границу. Алексею казалось, что не только он, но и Катерина чувствует себя чем-то виноватой.

Некоторая сухость чувствовалась и у Алексея Александровича, когда вечером Алексей вошел в его кабинет для продолжения утренней беседы.

В утренней сегодняшней беседе, — начал седовласый патриарх, — я успел из виду отметить еще одну особенность нашего экономического режима. Связываясь к демократизации народного дохода, мы естественно распыляем получаемые нами средства и столь же естественно препятствовали образованию крупных состояний.

При всех положительных качествах этого явления оно имело и отрицательные. Во-первых, ослаблялось накопление капиталов. Распыленный доход почти целиком потреблялся, и капиталобразующая сила нашего общества, особенно после уничтожения частного кредитного посредничества, естественно была ничтожна.

Поэтому пришлось употребить значительные усилия для того, чтобы крестьянские кооперативы и

некоторые государственные органы принимали серьезные меры для создания особых социальных капиталов, и тем форсировать капиталообразование. К разряду этих же мероприятий относится у нас щедрое финансирование всяких изобретателей и предпринимателей, работающих в новых областях хозяйственной жизни.

Другим последствием демократизации национального дохода являлось значительное ослабление меценатства и сокращение количества ничего не делающих людей, т. е. двух субстратов, из которых в значительной степени питались искусства и философия.

Однако и здесь крестьянская самодеятельность, сознаюсь, несколько подогретая из центра, сумела справиться с задачей.

Для процветания искусства со стороны общества требуется повышенное внимание к ним и активный и щедрый спрос на их произведения. Теперь и то и другое налицо: сегодня вы видели в Белой Колпи выставку картин и отношение к ней населения; необходимо добавить, что наше теперешнее сельское строительство исчисляет заказываемые им фрески сотнями, если не тысячами квадратных сажен; прекрасные куски живописи вы найдете в школах и народных домах каждой волости. Существует значительный частный спрос.

Знаете, даже мистер Чарли. у нас в спросе не только произведения художников, но и сами художники. Мне известен не один случай, когда та или иная волость или уезд, уплачивали по многолетним контрактам значительные суммы художнику, поэту или ученому только за перенос его местожительства на их территорию. Согласитесь, что это напоминает Медичи и Гонзаго времен Итальянского возрождения.

Кроме того, мы усиленно поддерживаем „братство Флора и Лавра“, „изографа Олимпия“ и не мало других, с организацией которых вы, как кажется, уже знакомы.

Как видите, говоря об экономической проблеме, мы незаметно подошли к проблеме социальной, для нас более трудной и более сложной.

Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе наकाких пут, а общество невидимыми для личности путями блюло бы общественный интерес.

При этом мы никогда не делали из общества кумира, из государства нашего—фетиш.

Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством. Среди этих средств наиболее мощным, наиболее необходимым почитаем мы общество и государство, но никогда не забываем, что они—только средства.

Особенно осторожны мы в отношении государства, коим пользуемся только, когда этого требует необходимость. Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой, смягчение нравов идет со скоростью геологических процессов. Сильные натуры, обладающие волей к власти, всегда стремятся добыть себе полную интегральную и содержательную жизнь на опустошении жизни других. Мы понимаем отлично, что жизнь Герода Атика, Марка Аврелия, Василия Голицына вряд ли в чемнибудь по своему содержанию и глубине уступали жизни лучших людей современности. Вся разница в том, что тогда этой жизнью жили еди-

ицы, теперь живут десятки тысяч, в будущем, надеюсь, будут жить миллионы. Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали быть пищей только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян.

В сторону этого прогресса общество неуклонно развивается последние два столетия и оно, конечно, имеет право обороняться. Когда какие-нибудь сильные натурны или даже целые группы сильных натур мешают этому прогрессу, то общество может обороняться и государство — испытанный в этом отношении аппарат.

Кроме того оно не плохое орудие для целого ряда технических надобностей.

Вы спросите, как оно у нас устроено? Как вам известно, развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Этим отчасти и объясняются многие из существующих наших установлений. Как вы знаете, наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. С одной стороны — это наследие социалистического периода нашей истории, с другой стороны — в нем не мало ценных сторон. Необходимо отметить, что в крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 17 года в системе управления кооперативными организациями.

Основные начала этой системы вам, вероятно, известны, и я не буду останавливаться на них.

Скажу только, что мы ценим в ней идею непосредственной ответственности всех органов власти перед теми массами или учреждениями, которые они обслуживают. Из этого правила у нас изъяты только суд, государственный контроль и некоторые учре-

ждения и области путей сообщения, стоящие всецело в управлении центральной власти.

Не малую ценность в наших глазах представляет расщепление законодательной власти, при котором принципиальные вопросы решаются съездом советов с предварительным обсуждением их на местах, подчеркиваю—обсуждением, т. к. закон запрещает делегатам иметь императивные мандаты. Сама же законодательная техника передается Ц. и. К. и в целом ряде случаев Совнаркому.

При таком способе управления народные массы наиболее втянуты в государственное творчество и в то же время обеспечена гибкость законодательного аппарата.

Впрочем мы далеко не ригористы даже в проведении всей этой механики в жизнь, и охотно допускаем местные варианты; так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели „удельного князя“, правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской территории единолично правит „генерал-губернатор“ центральной власти.

— Простите,—перебил его Кремнев. — Съезды советов, Цик и местные совдепы—это все же не более, как санкция власти, на чем же держится у вас сама материальная власть?

Ах, добрейший мистер Чарли, об этих заботах наши сограждане почти уже забыли, ибо мы совершенно почти разгрузили го ударство от всех социальных и экономических функций, и рядовой обыватель с ним почти не соприкасается.

Да и вообще мы считаем государство одним из устарелых приемов организации социальной жизни и $\frac{9}{10}$ нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима: различные общества, кооперативы, съезды,

лиги, газёты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы—вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа, как такового.

И вот здесь-то, при ее организации нам приходится сталкиваться с чрезвычайно сложными организационными проблемами.

Человеческая натура, увы, склонна к опрощению, предоставленная сама себе без социального общения и психических возбуждений со стороны, она постепенно погасает и растрчивает свое содержание. Брошенный в лес человек дичает. Его душа скудеет содержанием.

Поэтому вполне естественно, что мы, разнеся вдребезги города, бывшие многие столетия источниками культуры, весьма опасались, что наше распыленное среди лесов и полей деревенское население постепенно закиснет, утратит свою культуру, как утратила ее в петербургский период нашей истории.

В борьбе с этим закисанием нужно было подумать о социальном дренаже.

Еще большие опасения внушала проблема дальнейшего развития культуры, того творчества, которым мы были обязаны тому же городу.

Нас неотступно преследовала мысль: возможны ли высшие формы культуры при распыленном сельском поселении человечества?

Эпоха помещичьей культуры двадцатых годов прошлого века, давшая декабристов и подарившая миру Пушкина, говорила нам, что все это технически возможно.

Оставалось только найти достаточно мощные технические средства к этому.

Мы напрягли все усилия для создания идеальных путей сообщения, нашли средства заставить население двигаться по этим путям, хотя бы к своим

местным центрам, и бросили в эти центры все элементы культуры, которыми располагали: уездный и волостной театр, уездный музей с волостными филиалами, народные университеты, спорт всех видов и форм, хоровые общества, все вплоть до церкви и политики было брошено в деревни для поднятия ее культуры.

Мы рисковали многим, но в течение ряда десятилетий держали деревню в психическом напряжении. Особая лига организации общественного мнения создала десятки аппаратов, вызывающих и поддерживающих социальную энергию масс, каюсь, даже в законодательные учреждения вносились специально особые законопроекты, угрожавшие крестьянским интересам, специально для того, чтобы будировать крестьянское общественное сознание.

Однако, едва ли не главное значение в деле установления контакта наших сограждан с первоисточником культуры имели закон об обязательном путешествии для юношей и девушек и двухгодичная военно-трудовая повинность для них.

Идея путешествий, заимствованная у средневековых цехов, приводила молодого человека в соприкосновение со всем миром и расширяла его горизонты. В еще большей мере он подвергался обработке во время военной службы. Ей, говоря по совести, мы не придавали почти никакого стратегического значения: в случае нападения иноземцев у нас есть средства обороны более мощные, чем все пушки и ружья вместе взятые, и если немцы приведут в исполнение свои угрозы, они в этом убедятся.

Но педагогическая роль трудовой службы, нравственно дисциплинирующая — неизмерима. Спорт, ритмическая гимнастика, пластика, работа на фабриках, походы, маневры, земляные работы — все это выковывает нам сограждан и, право же, милитаризм

этого рода искупает многие грехи старого милитаризма.

Остается развитие культуры, отчасти я уже говорил вам о том, что сделано в этой области.

Главная идея, облегчившая нам разрешение проблемы, была идея искусственного подбора и содействия организации талантливых жизней.

Прошлые эпохи не знали научно человеческой жизни, они не пытались даже сложить учение о ее нормальном развитии, о ее патологии, мы не знали болезней в биографиях людей, не имели понятия о диагнозе и терапии неудавшихся жизней.

Люди, имевшие слабые запасы потенциальной энергии, часто сгорали как свечи и гибли под тяжестью обстоятельств, личности колоссальной силы не использовали десятой доли своей энергии. Теперь мы знаем, морфологию и динамику человеческой жизни, знаем, как можно развить из человека все заложенные в него силы. Особые общества, многолюдные и мощные, включают в круг своего наблюдения миллионы людей, и будьте уверены, что теперь не может затеряться ни один талант, ни одна человеческая возможность не улетит в царство забвения...

Кремнев вскочил потрясенный.

— Но разве это не ужас! Эта тирания выше всех тираний! Ваши общества, воскрешающие немецких антропософов и французских франк-масонов стоят любого государственного террора. — Действительно, зачем вам государство, раз весь ваш строй есть не более, как утонченная олигархия двух десятков умнейших честолюбцев!

— Не волнуйтесь, мистер Чарли, во-первых, каждая сильная личность не ощутит даже намека нашей тирании, а во-вторых, вы были правы лет тридцать назад — тогда наш строй был олигархией одаренных

энтузиастов. Теперь мы можем сказать: „Ныне отпускаеши раба твоего!“ Крестьянские массы доросли до активного участия, в определении общественного мнения страны, и если мы духовно у власти, то потому только, что „Und der Kaiser absolut, wenn er unsre Wille tut“, как говорят немцы.

Попробуй самая сильнейшая организация пойти в разрез мнению тех, кто живет и думает в избах Яропольца, Муринова и тысяч других поселений,— сразу же потеряет она свое влияние и духовную власть.

Поверьте, что духовная культура народа, раз достигнув определенного, очень высокого духовного уровня, далее удерживается автоматически и приобретает внутреннюю устойчивость. Наша задача заключается в том, чтобы каждая волость жила своей творческой культурной жизнью, чтобы качественно жизнь Корчевского уезда не отличалась от жизни уезда Московского, и достигнув этого, мы, энтузиасты возрождения села, мы, последователи великого пророка А. Евдокимова, можем спокойно сходить в могилу.

Глаза старика горели огнем молодости, перед Кремневым стоял фанатик.

Кремнев встал и с видимым раздражением обратился к Минину:

— Хорошо, вы говорите, что свободная человеческая личность, все государство, долг, общество—средства. Что же, по-вашему, социальный критерий для самооценки своих поступков для ваших граждан необходим или излишен?

— С точки зрения удобства государственного управления и как массовое явление—желателен, с точки зрения этической—не обязателен.

— И это вы проповедуете открыто?

— Да поймите вы, дорогой мой, — вспыхнул старик, — что у нас нет воровства не потому, что каждый сознает, что воровать дурно, а потому, что в головах наших сограждан не может зародиться даже мысли о воровстве. По-нашему, если хотите, осознанная этика — безнравственна.

— Хорошо, но вы-то, все это сознающие, вы, главноверхи духовной жизни и общественности, — кто вы: авгуры или фанатики долга? какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского эдема?

— Несчастный вы человек! — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост. — Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябна, что стимулировало его к созданию „Прометея“, что заставило Рембрандта создать его сказочные видения! Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли! Вы хотите знать кто мы — авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие — мы люди искусства.

Глава двенадцатая, описывающая значительные улучшения в московских музеях и увеселениях и прервавшаяся весьма неприятной неожиданностью.

Утром следующего дня Кремнев почувствовал еще большее охлаждение к нему обитателей Белокоптинского городка. Алексей Александрович как-то нехотя давал ему объяснения, связанные с устройством системы метеорофора.

По его словам, факт связи того или иного состояния погоды с напряжением силовых магнитных линий был отмечен еще в XIX столетии. Проносящиеся циклоны и антициклоны всегда имели свое магнитное видоизображение. Было только не совсем

ясно, что в этой связи является определяющим моментом: погода определяет состояние магнитного поля, или магнитное поле определяет погоду. Анализ подтвердил вторую гипотезу, и установка сети 4500 магнитных силовых станций позволила почти по полному произволу управлять состоянием магнитного поля, а следовательно и погоды. Минин перешел к описанию метеорофора, но заметив слабость Алексея в законах математики, резко прервал свои объяснения...

За обедом Кремнев почувствовал невыносимость своего положения, приближение катастрофы, и потому был счастлив безмерно, когда Параскева попросила его поехать с ней в Москву за покупками и для посещения духовного концерта московских колоколов.

Легкий аэропиль доставил их к трем часам на аэродром центра, и так как до начала концерта оставался добрый час времени, Параскева предложила Алексею посмотреть московские музеи, говоря, что теперь им удалось сделать то, перед чем остановилась в бессилии великая революция, и вытянуть из музейной рутины все сокровища духа, хранящиеся в них.

— Даже исторический музей и тот в семидесятый год был вынут из-под спуда!

Новое здание Румянцевского музея занимало целый огромный квартал от манежа до Знаменки, выходя своими фасадами к Александровскому саду. В длинных веренищах комнат перед ним раскрылись диковинные видения Сандро Боттичелли, Рубенса, Веласкеза и других корифеев старого искусства, японские и неведомые ему ранее китайские эмали, — все эти дары чужих стран, вымененные, как пояснила Параскева, на Новгородские и Суздальские иконы у музейщиков Запада и восточных стран. Пробегая беглым осмотром десятки зал, Алексей невольно задержал

в залах реликвий. Его поразила комната Пушкина, раскрывшая Алексею душу великого поэта лучше, чем все десятки книг о нем когда-то прочитанных. Ушаковский альбом, листки альбомных стихов, портреты близких, Нащокинский домик и сотни других свидетелей великой жизни.

Он был подавлен залами эпохи великой революции, где знакомые лица и предметы, несколько подернувшиеся паутиной времени, подчеркнуто вызывающе смотрели на него.

Однако, оставаться дольше было невозможно, через полчаса должен был ударить первый колокол.

Когда они вышли на улицу, плотные толпы народа заливали собою площади и парки, сады, расположенные по берегу Москвы реки. Получив в руки программу, Алексей прочел, что общество имени Александра Смагина, празднуя окончание жатвы, приглашает крестьян Московской области прослушать следующую программу, исполняемую на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей.

ПРОГРАММА:

1. Звоны Ростовские XVI века.
2. Литургия Рахманинова.
3. Звон Акимовский (1731 г.).
4. Куранты Борисяка.
5. Перезвон Егорьевский с перебором.
6. Прометей Скрыбина.
7. Звоны московские.

Через минуту густой удар Полиелейного колокола загудел и пронесся над Москвой, ему в октаву отозвались Кадаши, Никола Гольшой Крест, Зачатьевский монастырь, и Ростовский перезвон охватил всю Москву. Медные звуки, падающие с высоты на го-

ловы стихшей толпы, были подобны взмахам крыл какой-то неведомой птицы. Стихия Ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслась куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы Рахманиновской литургии.

Алексей, подавленный, поверженный ниц высшим торжеством искусства, почувствовал, что кто-то взял его за плечо.

Быстро обернувшись, заметил он Катерину, с таинственным видом звавшую его следовать за собою... Он пытался сказать ей что-то, но звуки голоса бесследно тонули в колокольном звоне.

Через минуту они входили в залы гигантского ресторана „Юлия и Слон“, в комнатах которого можно было укрыться от колокольного звона.

— Я не знаю, кто вы, — шептала взволнованная Катерина. — Знаю только, что вы не Чарли Мен.

И она, волнуясь и путаясь в словах, рассказала ему, что его плохое английское произношение и чистый русский выговор, детали костюма и незнание математики в первый же день вселили в их семье недоверие, все время усиливавшееся, что его определенно считают за антропософа, подготовлявшего германскую авантюру, что ему грозит арест и, может быть, еще что-либо худшее, что она не верит этой клевете, что за минувшие два дня она узнала и полюбила его, что он человек необыкновенный, хищный и прекрасный, как волк, и что она искала его предупредить и умоляет бежать, что она боится навести на его след судебную власть, которая теперь арестует немцев и антропософов, что война с минуты на минуту будет объявлена; и неожиданно, поцеловав его в лоб, она столь же неожиданно скрылась.

Кремнев, годы живший в русском подполье самодержавной эпохи, все-таки был ошарашен и убит безысходностью своего положения. Он вздрогнул,

заметив на себе пристальный и подозрительный взгляд половых.

Быстро вышел из ресторана на площадь. Колокола уже не сотрясали небо и толпы в тревоге расходились. Газетчики разбрасывали листки. „Война, война“, — слышалось со всех сторон.

Не успел Кремнев пройти и десяти шагов, как кто-то опустил на его плечо тяжелую руку и он услышал голос: „Остановитесь, товарищ, вы арестованы!“.

Глава тринадцатая, знакомящая Кремнева с плохим устройством мест заключения в стране утопии и некоторыми формами утопического судопроизводства.

Обширная „Гостиница для приезжающих из Рязанских земель“, временно превращенная в тюрьму, была окружена со всех сторон караулами крестьянской гвардии в живописных костюмах стрельцов эпохи Алексея Михайловича.

Когда арестовавший Алексея комиссар привел его в вестибюль и сдал на руки коменданту, тот взял его арестный №, и позвонив портье, сказал:

— Мы несколько не рассчитали помещения и я буду принужден поместить вас на сегодняшнюю ночь в общую комнату. Вы как будто без вещей? Если вы москвич, то сообщите адрес, и мы пошлем к вам домой за необходимыми вещами.

Кремнев заметил, что он, к сожалению, человек приезжий и ему обещали достать все из гостиничных запасов.

Концертный зал гостиницы, приспособленный в узилище, походил на вокзал узловой станции старого доброго времени. Мужчины и дамы разных возра-

стов и состояний сидели рядом с саквояжами и тюками в скучающих позах и хмурым видом.

Здесь были немцы в кожаных куртках и кепи, худые и тонкие с тевтонской надменностью и презрением ко всему окружающему. Русские бледные дамы, молодые люди с невидящими бесцветными глазами и какие-то юркие личности восточного происхождения.

Как удалось впоследствии узнать Алексею, русские дамы и молодые люди были антропософами, несчастными людьми, захваченными немецкой интригой и подавленные великой немецкой идеей.

Комендант узилища, вышедший в залу, еще раз извинился перед всеми собранными по поводу лишения их свободы и адских условий размещения, выразил надежду, что дня через два все будут уже на свободе, и обещал компенсировать неудобства хорошим обедом и всякими развлечениями.

Действительно, обед, или точнее ужин не заставил себя ждать, а вечером немцы, окружив ломберные столы, резались в карты, остальная же публика слушала небольшой концерт, наскоро организованный комендантом.

Спали на складных постелях не раздеваясь. Утром Алексей был на допросе и на вопрос — кто он и почему выдавал себя за американца инженера Чарли Мена, чистосердечно рассказал всю свою историю, боясь, что его повествование встретят смехом и, как доказательство, привел свой бюст из Белоколпинского паноптикума и вероятные материалы в залах реликвий Румянцевского музея.

К его великому удивлению его повествование не встретило возражений или недоумений, но было спокойно записано и ему сказали, что вечером его подвергнут экспертизе.

Весь томительно долгий день Кремнев просидел перед окнами отведенной ему комнаты и смотрел в город.

Социальное море было в состоянии бури, деревенская Россия, подобно дядьке Черномору, выводила из своих недр тридцать три богатырские силы.

Плотные колонны войск быстрыми шагами французских шассеров проходили по шоссе перед окнами. Какая-то молодая дама в голубой амазонке, на белом коне и с генеральским султаном принимала парад легкой кавалерии амазонок. С волнением в душе Алексей узнал в предводительнице одного из лихо проведенных эскадронов знакомые черты Катерины. Скоро кавалерия сменилась пекотой и толпы штатского населения залили все видимое пространство.

Толпа слушала речи ораторов и разъезжающих автомобилей и ловила ленты телеграмм, кипами разбрасываемых в толпу.

К вечеру Алексея усадили в закрытый автомобиль и привезли на Моховую, где в круглой зале правления университета его ждала экспертная комиссия.

— Скажите, — начал свой вопрос седой старик в золотых очках, — что такое Обликомзап? Если вы действительно современник великой революции, вы должны разъяснить нам смысл этого слова.

Кремнев с улыбкой ответил, что это означает „Областной исполнительный комитет западной области“ — учреждение, существовавшее некоторое время в Питере после перехода столицы в Москву.

Что за учреждение цекмонкульт?

Центральный комитет монополизированной культуры, установленный в 1921 году для принудительного использования культурных сил.

— Скажите, по каким соображениям были в силу введены и почему уничтожены деревенские комбеды?

Кремнев ответил с достаточной удовлетворительностью и на этот вопрос.

Ему были предъявлены ряд документов эпохи с просьбой их комментировать, с чем он справился также удовлетворительно, и, наконец, ему долго и с трудом пришлось объяснить идею урбанизации земледелия, отвечая на вопрос о советских хозяйствах.

В итоге его собеседники профессора долго и с сожалением качали головами и заявили ему на прощание, что он, несомненно, начитан в революционной литературе, в нем видно знакомство с архивами, но что он совершенно не представляет собою духа эпохи и чудовищно, по непониманию, толкует исторические события, а потому ни в коем случае не может быть признан современником их.

Когда Алексея везли обратно в узилище, то улицы снова были переполнены толпой, и она громко, как рокот моря и торжествующе шумела.

Глава четырнадцатая и в первой части последняя, свидетельствующая одновременно о том, что подчас орала могут быть с успехом перекованы в мечи, и что Кремнев в конце концов оказался в весьма печальном положении.

Звон колоколов торжественный и поющий разбудил вынужденных обитателей „Гостиницы для приезжающих из Рязанских земель“, и всем им вскоре было заявлено, что по случаю окончания войны все они свободны, но желающие могут остаться напиться утреннего кофе.

Тюрьма немедленно превратилась в оживленный отель и тем вернулась к своему первоначальному естеству.

Когда Кремнев уходил, то комендант вручил ему пакет с определением следственной комиссии, которая указывала, что за отсутствием состава преступления гражданин, именующий себя Кремневым Алексеем, подлежит освобождению наравне с остальными. Версию об его происхождении комиссия считает неправдоподобной, но, не имея оснований усматривать в самозванстве гражданина, именующего себя Кремневым, какого-либо преступного элемента, следствие, возбужденное Никофором Мининым, прекращает.

Алексей решил воспользоваться предоставленным ему правом позавтракать на казенный счет на верандах своего бывшего узилища, и, заняв столик, углубился в чтение брошенного ему газетчиком листка с официальным сообщением о прекращении войны.

Алексей узнал, что 7 сентября три армии германского Всевобуча, сопровождаемые тучами аэропланов, вторглась в пределы Российской крестьянской республики, и за сутки, не встречая никаких признаков не только сопротивления, но даже живого населения, углубилась на 50, а местами и на 100 верст.

В 3 часа 15 минут ночи на 8 сентября по заранее разработанному плану метеорофоры пограничной полосы дали максимальное напряжение силовых линий на циклоне малого радиуса, и в течение получаса миллионные армии и десятки тысяч аэропланов были буквально сметены чудовищными смерчами. Установили ветровую завесу на границе, и высланные аэросани Тары оказывали посильную помощь поверженным полчищам. Через два часа берлинское правительство сообщило, что оно прекращает войну и уплачивает вызванные ею издержки в любой форме.

Таковой формой русский Совнарком избрал несколько десятков полотен Боттичелли, Доменико Ве-

циано, Гольбейна, Пергамский алтарь и 1000 китайских раскрашенных гравюр эпохи Танг, а также 1000 племенных быков производителей знаменитой породы „Nur für Deutschland“.

Звонкие трубы крестьянской армии трубили фанфары, и звуки скрябинского Прометея, оказавшегося государственным гимном, сотрясали небо Москвы.

Кофе был допит, ростбиф окончен и Кремнев поднялся со стула. Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один без связей и без средств к существованию в жизнь почти неведомой утопической страны.

Конец первой части.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие.

	Стр.
Глава первая, в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым	1
Глава вторая, повествующая о влиянии Герцена на воспламенное воображение советского служащего.	2
Глава третья, изображающая появление Кремнева в стране утопии и его приятные разговоры с утопической Москвичкой об истории живописи XX столетия.	5
Глава четвертая, продолжающая третью и отделенная от нее только для того, чтобы главы не были очень длинными.	9
Глава пятая, чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года	11
Глава шестая, в которой читатель убедится, что в Архангельском за 80 лет не разучились делать ванильные ватрушки к чаю	17
Глава седьмая, убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья — и всегда семьей останется	20
Глава восьмая, историческая	24
Глава девятая, которую молодые читательницы могут и пропустить, но которая рекомендуется особому вниманию членов коммунистической партии.	27
Глава десятая, в которой описывается ярмарка в Белой Колпи и выясняется полное согласие автора с Анатолем Франсом в том, что повесть без любви то же, что сало без горчицы	37
Глава одиннадцатая, весьма схожая с главой девятой.	43
Глава двенадцатая, описывающая значительные улучшения в Московских музеях и увеселениях и прерванная весьма неприятной неожиданностью.	52

Глава тринадцатая, знакомящая Кремнева с плохим устройством мест заключения в стране утопии и некоторыми формами утопического судопроизводства. . .	Стр. 56
Глава четырнадцатая и в первой части последняя, свидетельствующая одновременно о том, что подчас орала могут быть перекованы в мечи и что Кремнев в конце концов оказался в весьма печальном положении	59

Стр.

56

59

Цена 25 рублей.

Указанная на книге цена никем
не может быть повышена.



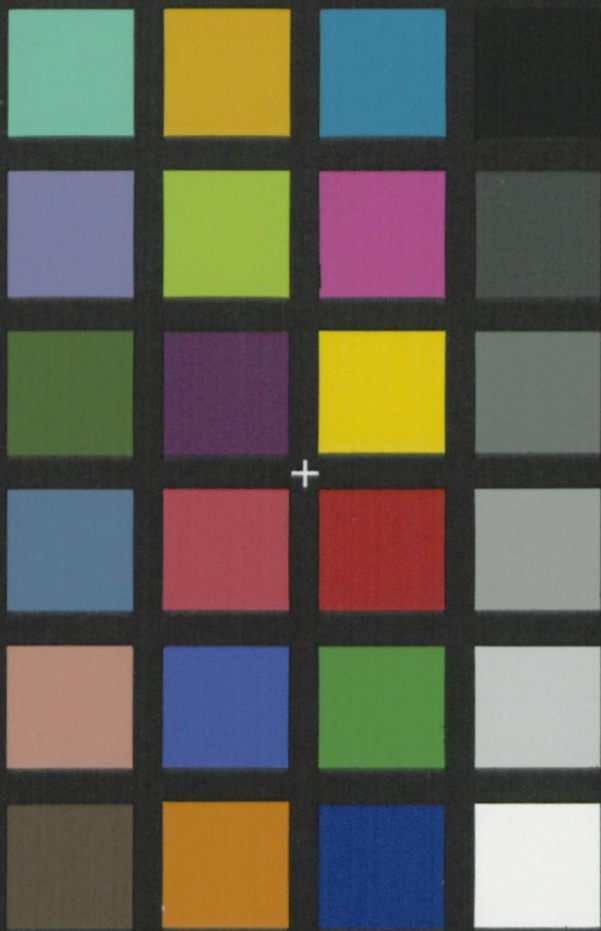
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1920.

ИВ. КРЕМНЕВ.

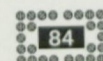
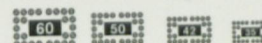
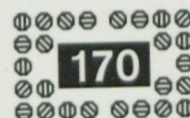
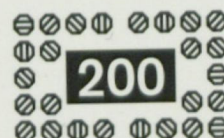
ПУТЕШЕСТВИЕ

x-rite

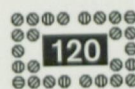
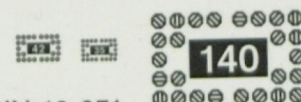
colorchecker CLASSIC



mm



DIN 19 051



biblio-copy